

Виктория Габриелян

Я ПОСТУПИЛА В УНИВЕРСИТЕТ



Виктория Габриелян Я поступила в университет (сборник)

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43073888

Я поступила в университет: Издатель ИП Ромм М.Н. «ИД РИС»; М.;

2019

ISBN 978-5-99062-271-5

Аннотация

Герои рассказов Виктории Габриелян – поколение «детей шестидесятников». Им довелось пережить и «застой» позднесоветского периода, и распад СССР, и «парад суверенитетов», и военные конфликты, и эмиграцию. О перипетиях их непростых судеб, зачастую трагических, а подчас смешных, автор пишет с живым сочувствием и симпатией.

«Мы родились в СССР слепыми и доверчивыми, как котята. Политбюро позвало нас ласково и требовательно: «кис-кис», предрешая нашу судьбу, не давая выбора, и мы побежали к кормушке. Конечно, не все были ручными, многие сгинули в жерновах перестроек, перезагрузок, разборок, в объявленных и необъявленных войнах. Их имена не высечены в камне, о них, в основном, не помнят.

А потом нам, подросшим и осмелевшим, сказали: «Брысь отсюда! Живите, как хотите». Тогда мы повернулись лицом к миру: огромному, непредсказуемому, неведомому, но страшно интересному. И этот мир прищурился, разглядывая нас, и поманил загадочно: «Мяу... крошки... Идите к нам...».

Эта книга о самых обыкновенных людях, чьи жизни не изменили ни политику, ни экономику ни одной страны. Их идеи не стали революционными. Побывав в жерновах трех эпох, они выжили и даже счастливы».

Содержание

Я поступила в университет!	6
Цветы	16
С днем рождения, мама!	20
«Одиночество – сволочь»	24
Пятнадцатый квартал	36
Фриц	46
Потерянное поколение	56
Рассказ фигуристки	64
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Виктория Габриелян

Я поступила в университет

© Габриелян В. 2018

Я поступила в университет!

Счастью нет предела!

У списков поступивших, напечатанных на белых листах бумаги и прикрепленных с обратной стороны стеклянных дверей главного корпуса, что на улице Мравяна, собрались вчерашние абитуриенты. Я пробилась сквозь толпу и, поведя пальцем по колонкам, увидела запись напротив своей фамилии: «Зачислить на очное обучение по специальности "биология"».

Это вам не просто сообщение по почте получить: вы приняты. Это надо было сколько ночей не спать, переживать, хватит ли набранных баллов на экзаменах плюс балл аттестата, когда конкуренция выше крыши: даже на биофак – три абитуриента на место.

Родители гордятся, принимают поздравления.

Я поступила! Мне хотелось кричать об этом, бегать вокруг огромных корпусов ереванского университета и обнимать каждого встречного. Жизнь мне теперь представлялась чередой сплошных удовольствий: новые друзья, аудитории вместо школьных классов, профессора вместо школьных учителей, а главное – взрослая жизнь, когда уже все можно, поскольку обещание родителям выполнено – поступила в университет. Теперь их очередь выполнять обещанное: купить (ах, какое неправильное слово, совсем не вписывается

в ту эпоху – достать) модное пальто и югославские сапоги гармошкой. Теперь можно носить мамины туфли на лекции хоть каждый день, а не только украдкой по выходным в кино. Можно, например, познакомиться со старшекурсником и бегать на свидания, я уже взрослая, почему бы нет? И спрашивать разрешения у родителей уже не надо и возвращаться домой позже десяти – можно. Какое счастье – я выросла! Как пережить еще десять дней до первого сентября? Надеть специально пошитое у маминой портнихи платье к этому дню – голубое, с летящей юбкой «солнце-клевш», едва прикрывающее колени. Но разве в Ереване можно что-нибудь наглухо прикрыть? Платье Мерилин Монро совсем не годится для ереванской погоды. Порывы ветра кружат меня, кружат юбку, то прижимают ее плотно к ногам, то закручивают вокруг оси, то надувают парусом. Хорошо, что мама догадалась заказать и подъюбник того же цвета, а то бы сверкала я голыми ногами и хлопчатобумажным бельем – шелковое и кружевное еще практически недоступно. Мама привезла комплект из Риги «на выход». Но когда случится этот выход? У меня каждый день – «выход», но если слушать маму, то шанс надеть это распрекрасное белое неглиже наступит только в день свадьбы. А я не могу ждать. Я ворую косметику из маминой сумки и импортные колготки из комода. Я еще не понимаю, что в семнадцать лет девушка красива просто так. Молодость, невинность, естественность, даже глупость – вот красота! Я наношу на пухлые, еще детские щеки румяна ши-

рокой полосой от висков к крыльям носа, я крашу веки в синий или зеленый цвет, я навожу черные стрелки и обильно терзаю тушью и так длинные ресницы. Мне нравится, как я выгляжу. Взрослая, уверенная в себе. И я надеюсь, что никто не слышит, как часто бьется мое сердце, никто не видит, как дрожат у меня колени, когда я захожу первого сентября через тяжелые двери в три человеческих роста в фойе помпезного здания с колоннами – биологический факультет, который станет мне другом, возлюбленным, учителем на долгие или короткие двенадцать лет.

В фойе – толпа. Я нащупываю взглядом несколько знакомых лиц, мы встретились на вступительных экзаменах. Бросаюсь к ним, как к самым близким родственникам. «Неужели у меня тоже такой испуганный и растерянный вид? – думаю я, разглядывая девушек в новых, нарядных платьях и редких юношей (биофак – девичье царство) в костюмах с выпускного. – Нет-нет, я выгляжу уверенно! Прочь страхи!» Какие-то сплетни, обсуждения, разоблачения просачиваются сквозь радостные возгласы узнавания: «Как здорово! И ты поступила!». С ехидными улыбочками группа супермодно одетых девушек едва достаивает меня взглядом. Они возвращаются к прерванному разговору: у того папа цеховик, а у той – мама завкафедрой. Но это ни капельки не важно сейчас – я тоже, как и эти надменные девушки, поступила! Это потом станет важно, когда грянет защита дипломов, государственные экзамены, распределение, а место в аспиран-

туре всего-навсего одно. Некоторые студентки уже устроенны: удачно вышли замуж. Не хватает только диплома к приданому.

А я тоже не прочь замуж выскочить. Почему бы и нет? Так надоела опека родителей! Так свободы хочется! И вот он, первый шаг на пути к самостоятельной жизни – университет. Жаль только, что мало студентов мужского пола, но не беда: с одного бока юридический, с другого – востоковедение – исключительно мужские факультеты, так что принц найдется, я же девушка красивая и, как оказалось, умная – поступила же.

Замдекана Бурастан Артемовна спускается к нам из деканата на втором этаже. Единственное лицо из администрации и преподавательского состава, которое я узнаю. Пока. Ее легкое платье прилипает к ногам синтетика или просто жарко. Первое сентября в Ереване – все еще летний день. Она машет нам всем руками, показывает жестами – нас не перекричать, – что нужно подниматься по лестнице на третий этаж. Мы двигаемся.

Лестницы на биофаке просторные, с белыми каменными ступенями, широкими деревянными перилами. На белых стенах на протяжении всех пролетов портреты местных выдающихся ученых со всеми регалиями и званиями. Это потом портреты уберут, вспомнят, что все они – коммунисты, а на стенах будут висеть страшные фотографии жертв сумга-

итского и бакинского погромов. Но это потом. А пока из открытых окон доносится уличный шум, шелест листьев: между биофаком и центральным корпусом – скверик со скамейками и пулпулаком¹ – место свиданий.

Мы заходим в большую аудиторию номер 303. Огромные полукруглые окна от пола до потолка, амфитеатр скамей, взрастивших не одно поколение биологов, невысокая сцена, трибуна. Огромная, поцарапанная мелом учебная доска во всю стену. Над доской – «Добро пожаловать»: комитет комсомола подготовился к встрече первокурсников. На сцене за столами в несколько рядов – преподавательский состав. Большинство мужчины.

В аудитории – весь факультет. Кто со старших курсов – позади, чем старше, тем дальше. Три ряда первых парт оставлены для ста новичков. Старшекурсницы еле достаивают нас взглядом. Старшекурсники – наоборот – разглядывают, оценивают пополнение. Красивы ли девушки или так себе, можно не напрягаться.

В партах, на скамьях выдавлены, вытесаны, вырезаны «на века» надписи на трех языках: армянская вязь переплетается с русскими и английскими словами. И латынь. Биофак же – куда без латыни. Я кладу свою сумочку в парту и замечаю сначала кучу огромных восклицательных знаков – кто-то писал в порыве чувств, а потом и саму надпись: «Lenno

¹ Пулпулак – фонтанчик с питьевой водой.

Forever!» Ну да, Джон Леннон погиб. А Виктор Цой пока жив. Наверное, учится в школе. Армянскую надпись «Цахик» (цветок) – имя девушки, скорей всего, пересекает русско-английская «Good bye, Америка!». Бутусов и «Машина времени» – наше всё. «Гуд бай, Америка, где я не буду никогда». Я, конечно, еще не знаю, что буду жить в Америке. А пока моя сумочка лежит в этой парте.

Гул стоит в зале такой, что не слышно декана, он взял слово. Поздравляет нас. Бурастан Артемовна привсталала – все замолкли, даже старшекурсники под потолком. А на потолке – три огромные хрустальные люстры, несмотря на светлое сентябрьское утро, сверкают огнями. Мы еле помещаемся на длинных скамьях. С одной стороны – Арина, с другой – Нана, мы познакомились, сдавая вступительные экзамены. Я счастлива, что мы все поступили! Мы сжимаем друг другу руки, еще не зная, что много лет будем рядом «в горе и радости, в здоровье и болезни, пока смерть не разлучит нас». С одной уже разлучила.

Я волнуюсь, сейчас меня вызовут для вручения студенческого билета. Почему-то на мгновение я перестаю слышать то, что происходит в зале, глаза затуманиваются, картинка расплывается, вижу себя как бы со стороны: со мной такое бывает в минуты сильных переживаний. На автопилоте я иду к сцене, получаю свой билет. Декан пожимает руку, улыбается и добавляет несколько теплых слов помимо протокола: «Очень рад!» Я знаю, почему: мы с его сыном школьные

друзья. Но поступать декан мне не помогал. Знал, что сама справлюсь.

Зато несколько секунд задержки на сцене дали другим возможность меня лучше разглядеть. Один из них – третьекурсник Миша. И в этом моем «размытом» состоянии мы случайно встречаемся глазами. Укол в сердце, всё, как в замедленной съемке, отпечатывается в памяти на десятилетия. «Симпатичная», – думает он. «Симпатичный!» – думаю я и прихожу в себя.

Миша и я еще не знаем, что любовь и смерть свяжут нас навсегда. И нет в этих словах никакого пафоса. Любовь, потому что мы молоды, горячи, мы интересны друг другу, нам хорошо и весело вдвоем, у нас планы на сто лет вперед, у нас маленькая дочка, карьера, совместные эксперименты и диссертация... А смерть, потому что всё в один миг оборвется, и Миша уйдет навсегда. В обычную жаркую августовскую ночь уйдет, громко хлопнув дверью, ни с кем не попрощавшись. Навсегда. Безвозвратно, повергнув всех в шок. Он умер, как жил. Торопясь все узнать, не считаясь с правилами, не прогибаясь и не уступая ни пяди своей свободы.

Подруги и друзья, окружающие сейчас Мишу на скамьях аудитории номер 303, не подозревают, что в такой же сентябрьский солнечный день они все придут его хоронить, не веря в происходящее. Первая в жизни потеря – такая горькая, такая невосполнимая! И преподаватели, которые сейчас

на сцене, тоже придут. Тоже не веря в происходящее. Только-только похоронили отца Миши – большого друга биофака, доктора наук, известного ученого, а теперь хоронят сына. Не верится, не верится!

А какой они красивой парой были – наши студенты, аспиранты, надежда армянской науки, – это о нас с Мишей. Водители на проспекте Комитаса нетерпеливо сигналият, две милицейские машины перегородили проспект, стражи порядка свистят, направляют нетерпеливых в объезд, другие выходят из машин посмотреть: что происходит? Сына Демирчяна – главы Армении (дай бог ему здоровья!) хоронят? Нет, отвечают им. Просто парень был хороший. Жил на этой улице, учился вон в той школе, дружил с этими ребятами, которые сейчас несут его гроб по широкой улице на руках, не позволив поставить на катафалк. И на кладбище старом, древнем, как мир, где стоят тяжелые и мрачные, как саркофаги, надгробья, руками закопают, откинут в сторону предложенные лопаты и каждый кусок земли смочат слезами.

Но этого я еще ничего не знаю! Я счастлива! Напеваю про себя навязчивый мотив «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Что там с трибуны вещают про то, что мы станем педагогами? Какая школа? Мы пришли сюда, чтобы стать Нобелевскими лауреатами за открытие спасительного средства от рака, например, или эликсира бессмертия, или бесконечного роста полезных растений, чтоб победить голод на всей

земле, или изобретение универсального лекарства от СПИДа! Ах да! СПИДа еще нет.

Мы смеемся, уже не слушаем никого на сцене, крутим головами по сторонам, мы осмелели, разглядываем старшекурсников. Те нам подмигивают. Мы уже свои. Как мы счастливы! Мы поступили! И вот, вот она – взрослая жизнь!

Мы верим, что нас ждет безоблачное будущее, никто еще не знает, что через несколько лет мы начнем войну, развалим страну, многие из нас взлетят на вершины мира и больно с них упадут и погибнут.

Что жить мы будем в разных странах и даже на разных континентах. Что выцарапанная наивная надпись в парте «Гуд бай, Америка, где я не буду никогда» будет вызывать только легкую улыбку – мы будем везде. В том числе на концерте Бутусова в Америке. Что никто не станет Нобелевским лауреатом, зато окажется, что ереванский биофак выпускает кого угодно, только не биологов, потому что надо будет выживать, а наука в новых независимых странах на десятилетия сделается никому не нужна. И мы станем ювелирами, бизнесменами, артистами, писателями, страховыми агентами и агентами по недвижимости, переводчиками, дипломатами, телевизионщиками, продюсерами и журналистами. А еще учителями. Школа многих из нас спасет от голода в девяностые.

Я еще не знаю, что вся наша семья эмигрирует из Арме-

нии. И только двадцативосьмилетний Миша навсегда останется там, на старом кладбище в деревне Арынч, что за жилым массивом Аван. Там все еще стоят древние хачкары, а пыльные серые могилы покрыты замшелыми базальтовыми камнями – вечными, как армянское горе.

Звенит звонок на нашу первую лекцию. Мы чинно спускаемся по лестнице. Я иду осторожно, боюсь поскользнуться на высоких каблуках. Мы же на лекции одеваемся как в театр – все самое лучшее, мы понятия пока не имеем ни о минимализме, ни о стиле «гранж», по большому счету – ни о каких пока стилях. В пору всеобщего дефицита мы хвастаемся тем, что достали из-под полы.

Но мы добры и счастливы. Мы больше не абитуриенты, значит, не конкуренты, мы – вчерашние дети – поступили в университет. И впереди еще много-много университетов, которые готовят нам жизнь.

Цветы

Я еще сплю, утренний сон сладкий-сладкий, как зефир. Мне восемнадцать, я не хочу просыпаться, но сквозь сон слышу, как шлепают по полу босые ноги, как приоткрывается дверь в комнату, какой-то шорох, смешок. Я еле-еле открываю глаза, мутное облако близорукости, ничего не понимаю, на соседних кроватях подружки хохочут, уткнувшись в подушки, я вожу рукой по тумбочке, нащупываю очки, и тут на меня градом падают ромашки, маки, васильки, колокольчики, эдельвейсы, лаванда – все цветы высокогорных лугов ложатся на плечи, путаются в волосах, опускаются на простыни. Я машу руками, а дождь из цветов продолжается. Я выпрыгиваю из кровати, на мне короткая футболка и трусики – мне восемнадцать – длинные ноги, длинные волосы, длинные руки, грудь торчком, нос тоже, глаза в очках, наконец-то я вижу: это Миша пробрался в комнату, где мы живем с подружками на студенческой летней практике в Анкаване, и посыпает мою постель цветами. Тысячами лепестков – голубых, желтых, красных, лиловых. Запах – терпкий, дикий – так пахнут полевые цветы. На часах – всего семь утра, мы, студенты биофака, почти до рассвета куролесили огромной толпой, пели под гитару, сидели у костра. Я вернулась под утро, упала на кровать. «А я не мог спать, – говорит мне Миша, – я собирал для тебя цветы».

Я вздрагиваю и открываю глаза, меня разбудил какой-то мягкий звук, будто что-то легкое, как шелковое покрывало, опустилось на постель. Еще раннее утро, я люблю понежиться, со снами расставаться не хочется, они цветные, они сладкие. Вижу окно, лучи солнца пробиваются сквозь дырочки кружевных занавесок, расплываются золотыми пятнами по стенам, отражаются на полированных поверхностях мебели, в хрустальных подвесках люстры, в капельках росы на розах, гвоздиках, гладиолусах, хризантемах – и какие там еще цветы на ереванских рынках продаются? Вожу рукой по тумбочке, ищу очки: близорукость добавляет непонимания происходящему. Очки помогают не очень. Я дома, Миши рядом нет, а вся кровать в цветах. Розовые розы, белые гладиолусы, красные гвоздики, желтые хризантемы. Приоткрывается дверь:

– Кофе будешь?

– Миша, что это? Ты ограбил цветочный магазин?

– Не мог спать, собирал для тебя цветы!

Я поворачиваюсь на другой бок, цветы колются, царапаются, но это приятно. Кажется, всего на секунду закрываю глаза, а вижу уже пятый сон. О, молодость! О, юность! О, незнание бессонницы!

Под стальным крылом земля похожа на бабушкино лоскутное одеяло. Бархатные отрезки маковых полей, шелковые

заплатки васильков, крепдешиновые оборки лютиков, сатиновые вставки хвойных лесов. Самолет летит бесшумно, я сижу за пилотом, не вижу его лица, но знаю: это – Миша. Маленький двухместный самолет взмывает ввысь: «Мы летим на Тэж!²» – кричит Миша, не оборачиваясь. Под нами зеркалом блестит озеро. Скалы настолько близко, что кажется – протяни руку, и сотрешь вековую пыль с их шершавой поверхности. Самолет выровнялся и летит теперь прямо к горе со снежной шапкой на вершине, ледяная пыль несется навстречу, царапая лицо. «Это цветы», – почему-то думаю я. Миша отпускает штурвал и машет мне руками, пытаюсь что-то сказать. Я слышу только крик: «А-а-а-а-а-а!»

«Мы разобьемся...», – шепчу я. Гора стрелой несется на нас. Оранжевая вспышка...

Запах свежесваренного кофе будит меня. Мы устраиваемся с Мишей в кровати с маленькими чашками армянского кофе с пузырящейся пенкой.

– Ты мне снился. Мы летели в самолете, и ты был пилот, – я смеюсь, зачем рассказывать про плохой конец.

И Миша смеется, и я уже забыла, что мы влетели в гору.

Мы строим планы на час, на день, на год. На жизнь. Мы молоды и счастливы Мы еще не знаем, что моим планам суждено осуществиться, а Мишиным – нет. Сегодня Миша еще жив, а завтра его не станет. И вся жизнь разделится на «до» и «после».

² Тэж – гора в Армении.

Год спустя я внезапно проснулась среди ночи. На кухне шептало радио, шел какой-то радиоспектакль. Я прислушалась к голосам актеров.

– Милый, – произнес женский голос, – ты рано ушел, тебя больше нет со мной, ты далеко и близко. Когда ты умер, я удивилась, что не умерла вместе с тобой от горя. И если мое сердце не перестало биться в тот час, когда перестало биться твое, значит, я проживу долгую жизнь. Ты молчишь для всех, но не для меня, я слышу твой голос каждой клеточкой своего тела, я веду с тобой нескончаемый разговор.

– Любимая, – ответил мужской, – ты остаешься здесь за меня, я буду ждать тебя долго, сколько нужно. Я не исчез, не просочился сквозь песок. Ты проживешь со мной каждую минуту. И только, когда уйдешь ты, уйду и я. Постарайся узнать про жизнь все. А когда мы встретимся, ты целую вечность будешь рассказывать мне, что случилось на земле с тех пор, как я ушел.

С днем рождения, мама!

Настоящая женщина в любом возрасте и в любом состоянии остается Женщиной. Мама, собираясь три раза в неделю на гемодиализ, никогда не забывает надеть серьги, кольца, раз в месяц требует отвезти в парикмахерскую и на маникюр-педикюр. И не важно, что мама не помнит, какой сегодня день, год и кто у нас президент, зато в клинике у нее есть бойфренд.

– Да, – хвастается мама. – Ждет, место мне греет, в окно рукой машет.

– А как его зовут? – интересуюсь.

– А я там знаю? – смеется мама. – Он что-то болтает-болтает, я ни слова не понимаю, головой только киваю. А как будет по-английски «как вас зовут»?

– «Вот из ё нэйм?»

– Ладно, приду и скажу ему: «Нэйм?!»

Ой, боюсь, отпугнет мама жениха. Так хорошо себе представляю, как она со всей силой своего греческого голоса и докторского характера крикнет ему:

– Нэйм!!! Твое нэйм как? Как нэйм твоё?

Вот такие у нас субботние утра с мамой. Женихов обсуждаем.

Когда я была маленькой, мои родители каждый день ссорились и разводились. Они и потом много ссорились, когда

я уже выросла во взрослую тетку и когда внучка Ева родилась, ссорились вплоть до того момента, когда папе поставили страшный диагноз. Я подозреваю, что мама так быстро состарилась и тоже тяжело заболела не потому, что папа умер, как и было предсказано врачами, через три недели, а потому, что стало не с кем выяснять отношения. Из жизни ушло самое главное: постоянно быть начеку и изобличать все папины прегрешения. Мама сдулась, как проколотый воздушный шарик. Жить стало неинтересно. Перестали волновать пыль на полированной мебели, нестиранные шторы, поблекший хрусталь.

Папу звали по-разному: Александр Кузьмич, товарищ подполковник, Шурик, Шуша. Мама звала его Саша, когда была в хорошем настроении, и «он», когда в плохом. Говорила о нем в третьем лице, даже когда папа находился в одной с ней комнате: «Может, и пожила бы еще... (драматическая пауза, резкие вздохи, как у астматика) какой-никакой год, но он же вгонит меня в гроб!» Папа в такие моменты разгорался, как паяльник, кричал что-то невнятное, но близкое по смыслу к «Нет, так жить нельзя!», и начинал разводиться. А мама совершенно спокойно, обращаясь к невидимому третьему: «Откуда он такую глотку взял? Смотри-смотри, сейчас лопнет!»

Папа становился на стул в коридоре, открывал антресоли и вытаскивал чемодан, который доставался только один

раз в году, когда мы собирались всей семьей в отпуск, все остальное время в том чемодане хранилась папина парадная форма.

Он намеренно звучно гремел замками, открывая и закрывая чемодан, выбрасывал из него сапоги и кители, чтобы мама наконец-то сказала: «Не шуми, Виточку разбудишь» и заплакала. Мамины слезы папа воспринимал как шаг к примирению.

А я не спала, я тоже плакала. Я так боялась, что они разведутся.

В маме погибла великая драматическая актриса. Как она могла держать паузу! А какие были реплики в зал!

«Светочка! – кричал папа с порога. – Картошки не было, я купил груши! Попробуй, какие сочные груши!»

Мама:

«Он думает, что вместо картошки я ГРУШИ в оливье нарежу».

Занавес.

И вдруг Саша ушел навсегда. Чемодан с парадной формой, которую давно съела моль, остался, а его больше не было. Некого стало пилить за лишнюю рюмку, за храп, за сигареты, за вечный спорт по телевизору, за неправильно купленный стиральный порошок или опоздание в гости. «Стою на пороге. Одетая. В линзах. Накрашенная. А он все копа-

ется и копается. Часами себя в зеркале разглядывает. Я и то столько времени у зеркала не провожу. Что он там увидел?» – спрашивала она у невидимки, всегда стоящего у нее за спиной.

Мама живет со мной и американским зятем в большом доме под Вашингтоном. Она давно потерялась в пространстве и во времени. Ее память коротка, как грибной дождик: брызнет влагой и свежестью и уйдет в землю, будто и не было.

«Виточка, а какой сегодня день?»

«Среда».

«Я куда-нибудь иду?»

«Нет, мама, никуда не идешь».

«А мне нужно что-нибудь делать?»

«Ничего не нужно, отдыхай».

«Спасибо тебе, Виточка, твоя мама живет, как королева, ничего не делает».

И на негнущихся ногах мама удаляется обратно в спальню. Спину все еще держит ровно, как в тридцать лет. Осанке мамы позавидовала бы сама Ермолова, с которой у мамы есть некоторое сходство.

С днем рождения, мама!

«Одиночество – сволочь»

У каждого своя Москва. Моя была одинокой. Большого одиночества, чем в Москве – мегаполисе в полном смысле слова – я не испытывала.

Я из того поколения, которое в школе училось при Брежнев, а в университете уже при Горбачеве.

Когда наступил 91-й год и по стране прокатился «парад суверенитетов», я тоже была в числе восторженных граждан, поставивших на референдуме за независимость в графе «аё» («да» по-армянски) галочку. Аё – независимости Армении от Советского Союза. Позже выяснилось, что впридачу к независимости от СССР (читай, России) мы получили еще и независимость от рублей, газа, отопления, электричества, воды (горячей и холодной), работы, школ и детских садов. А также – заводов, газет, пароходов. А наши несчастные сбережения в Сбербанке превратились в прах. Еще на автопилоте, воспринимая Москву как столицу нашей Родины, огромное количество граждан бывшей страны рвануло вон из республик в поисках лучшей жизни. В Москву, в Москву! А куда еще? В столицу, конечно. И точка.

И я рванула.

Понаехали, короче.

Все мы снимали жилье и искали работу. А вечерами в съемных квартирах и комнатах мы коротали одинокое вре-

мя, звоня домой в Ереван, Тбилиси, Ташкент, Кишинев.

Я тоже снимала квартиру где-то на окраине. Знакомых у меня было мало, жили они в сотне километров и не всегда были готовы со мной встретиться – свои проблемы у каждого.

С большим трудом я устроилась на работу – секретарем в начинающую юридическую фирму. Мне выдали первую зарплату.

Больше всего на свете я желала любить, поэтому заглядывала в лицо каждого мужчины, идущего навстречу.

И вот однажды в окне вагона метро я увидела отражение какого-то мужчины, который пристально меня рассматривал. Я обернулась.

Он был красив. Темные волосы с проседью, светлые глаза, твердый подбородок. Нос с горбинкой выдавал выходца с Кавказа. На нем было длинное черное пальто хорошего покроя. Он упорно смотрел на меня.

Когда я подошла к двери (моя остановка приближалась), он заговорил: «Здравствуйте, разрешите вас проводить?» Я уловила грузинский акцент. Мне было совсем не страшно. Я еще была в том возрасте, когда ничего не боятся и верят, что можно влюбиться с первого взгляда. А почему бы и нет? Я была привлекательной молодой женщиной.

Незнакомец проводил меня до автобусной остановки и попросил номер телефона.

Позвонил в тот же вечер и пригласил на свидание на зав-

тра – у станции «ВДНХ».

У меня была маленькая норковая шубка, переделанная из старой маминой, недавно я разжилась модными ботиночками, а на рынке в Лужниках купила голубой свитер из будто бы ангоры. Мне казалось, что я выгляжу сногшибательно.

Когда я вышла из метро на улицу, он уже ждал. В одной руке он держал три гвоздики, в другой – пакет. Красные гвоздики на фоне черного пальто бросались в глаза, я сначала заметила яркие цветы, потом только догадалась, что это он.

Мы с родителями пять лет жили в прекрасной Грузии. Это были лучшие годы. Родители – живые, здоровые, молодые, веселые. Я – маленькая девочка в детском саду. У меня были грузинки-воспитательницы, я понимала грузинскую речь. В Грузии был мой дом. Со временем язык без практики забылся, но состояние влюбленности в детские впечатления осталось. Грузинский народ – гостеприимный, сочувствующий, благородный, щедрый и творческий.

Поэтому новый знакомый не внушал мне никаких опасений. Он хорошо говорил по-русски, хотя и с акцентом.

Он подарил мне цветы и после обязательных приветствий и комплиментов сказал просто:

– Извини, но у меня нет денег пригласить тебя куда-нибудь. Зато у меня есть бутылка шампанского, – он показал на пакет. – Предлагаю выпить ее у меня дома. Я живу неподалеку.

Напротив нас переливалась огнями гостиница «Космос». До того дня я видела ее только по телевизору. Построена гостиница была к московской Олимпиаде. Лет десять назад мы еще очень гордились нашей страной.

Я согласилась «познакомиться поближе» у него дома.

– Только адрес напиши мне вот здесь, на этой бумажке. Иначе никуда не пойду.

Он пожал плечами и записал. Я направилась к телефону-автомату.

– Зачем? – удивился он.

– Домой позвоню, – ответила я (кому, господи! Дома, на съемной квартире где-то у станции метро «Первомайская», никто не ждал), – чтоб знали, где искать, если не вернусь.

Он остался возле автомата. Я позвонила подруге и продиктовала адрес, поделилась, что иду по этому адресу на свидание.

– Дура ты, – сказала подруга. – Позвони, когда вернешься домой. Я буду ждать и волноваться.

Я уже слышу ваши возмущенные возгласы: какое легкомыслие, какая безответственность, глупость, короче говоря. И мне нечего вам возразить. Но за столько одиноких месяцев кто-то со мной вдруг заговорил, и я не могла отказаться от шанса изменить свою жизнь. Просто не могла и все.

Да, я смотрела каждый день по телевизору московские криминальные новости, в которых показывали посиневшие, страшные тела девушек, найденных в канализационных лю-

ках, неопознанные трупы в подворотнях и расстрелянных братков в иномарках. На дворе – начало девяностых. Разгул криминальных разборок, тысячи нераскрытых убийств и сгинувших навсегда людей.

Но я привыкла доверять людям. А мой новый знакомый всем своим видом и манерами внушал доверие. Хотя при этом он мог запросто оказаться насильником, маньяком или вором. Но не оказался ни первым, ни вторым, ни третьим.

Мы подошли к его дому. Это был один из корпусов в обычном московском дворе, напичканном длинными панельными многоэтажками. Я сверилась с адресом на бумажке. Все правильно. И название улицы, и номер дома, и корпус. Мы поднялись на лифте на девятый этаж. Он открыл дверь квартиры своим ключом. В коридоре нам встретились молодая женщина и ребенок на трехколесном велосипеде, она неприветливо посмотрела на нас и, подтолкнув ребенка, скрылась на кухне.

Он подвел меня к одной из дверей:

– Здесь я живу.

– Это коммуналка?

– Да.

Комната оказалась небольшой. В ней стояла кровать, тумбочка, журнальный столик, кресло и шкаф. Новый знакомый

предложил мне снять шубку. Я отказалась и попросила оставить дверь в коридор открытой.

Он пожал плечами:

– Как хочешь.

Из кухни принес два бокала. Открыл шампанское.

– Но прежде, чем мы выпьем за знакомство, я бы хотел, чтобы ты что-то сделала вместе со мной.

Он присел на краешек кровати и открыл тумбочку. Достал жгут, шприц и маленький флакончик с мутной жидкостью.

Глупость в молодости не поддается объяснению. Таких экспериментов над своим телом, душой и судьбой, как в молодости, мы не проводим больше никогда. В зрелом возрасте, прежде чем взобраться на Эверест или украсить/изуродовать тело татуировками, пирсингом и тоннелями, мы задумаемся и обязательно найдем объяснение своим поступкам. В молодости объяснения не требуются. Молодость в смерть не верит. Молодость – безрассудна, именно в это прекрасное время мы совершаем наши самые непоправимые ошибки. Зато приобретаем опыт. «И опыт, сын ошибок трудных...» А если молодость совпадает с развалом страны, когда в одночасье все, что прививали десятилетиями, превратилось в прах, включая мораль и простые истины – не убий, не прелюбодействуй, не пожелай жены, мужа или добра ближнего, – то безрассудство становится нормой жизни. Вместе со свободой передвижений пришла и свобо-

да нравов. Проститутки, наркоманы не удивляли уже никого. Молоденькие любовницы рядом с богатыми стариканами стали символом нового времени, как братки в джипах и малиновые пиджаки.

Даже когда мой новый знакомый закатал рукав своей сорочки, обнажив страшные синяки от уколов на сгибе локтя, я не испугалась, а испытала лишь любопытство, смешанное с безразличностью. В момент опасности я не испытываю испуга, скорее появляется странное ощущение, что это происходит не со мной. Себя и свои действия я вижу как бы со стороны, и вместо того чтобы бежать, скрыться от опасности, я остаюсь на месте, чтобы посмотреть, а что же будет дальше. И уверенность, что со мной ничего плохого случиться не может, только крепнет.

Он вылил жидкость из флакона в почерневшую алюминиевую плошку, из нагрудного кармана вытащил пакетик с порошком, смешал содержимое пакета с жидкостью и поставил плошку на маленькую электроплитку. Помешивая жидкость в плошке, смотрел на меня не отрываясь. Я выдержала его взгляд, изображая храбрость и безразличие, хотя сердце стучало уже в горле, и мне казалось, что горло пульсирует.

Он умело приладил жгут на предплечье и, помогая себе зубами, с силой затянул. Затем набрал жидкость из плошки в шприц («Боже мой, – подумалось вдруг, – какая антисанитария, тут и СПИД запросто подцепишь») и ловко всадил иглу

себе в вену. Жидкость в шприце окрасилась в красный цвет.

Когда-то меня тошнило от вида крови, на меня нападала слабость, спазмы сжимали желудок, черные точки мелькали в глазах, поэтому моя семья – врачи в трех поколениях – решила, что для медицины я не подхожу. Но с годами, пережив рождение дочери и смерть мужа, я уже не была такой нежной.

Он закрыл глаза. Я отвернулась и увидела мальчика на трехколесном велосипеде в проеме двери, он с любопытством смотрел на дядю, открыв рот. Увидев удивленные глаза мальчика, мне почему-то вспомнилось, как однажды наш сосед по ереванскому дому, семнадцатилетний подросток, упал в шахту лифта с шестнадцатого этажа. Он вызвал лифт на своем этаже, двери открылись, а лифт не приехал. Он не заметил, шагнул в пустоту. Как кричал отец, увидев искалеченного сына, но еще живого: «Балик-джан, это Горбачев виноват. Развалили страну, свет то есть, то нет. Коранам ес, балик-джан, цавэт танэм...» В глазах несчастного сына застыло удивление.

Соседи вызвали скорую, и по непонятно каким совпадениям мой папа приехал на вызов: спасти мальчика, которого знал с рождения. Отец умирающего пополз к папе на коленях: «Аствац-джан, бжишку-джан, мерси, ты спасешь его».

Сосед-подросток умер по дороге в больницу.

Мальчик вывел меня из ступора. У меня тоже маленькая

дочь, и сейчас она одна. Бабушка и дедушка с ней, но не папа и мама.

Я побежала к входной двери. Незнакомец (я не помню его имени) на удивление резво вскочил с кровати, в два прыжка оказался у двери и преградил мне путь к побегу.

– Что ты хочешь? – спросила я, удивляясь спокойствию своего голоса.

– Чтобы ты попробовала вместе со мной.

– Я не буду. Выпусти меня.

– Нет.

Даже в полутьме коридора было отчетливо видно, как темнеют и растут его зрачки, ему бы лечь и ловить глюки, а не выяснять отношения со мной: будешь – не будешь. Мне на мгновение обидно стало, что он меня совершенно не воспринимает как объект сексуального домогательства. Я вообще не могла взять в толк, зачем он привел меня сюда и чего добивается. Мысли вспышками мелькали в голове:

«Неужели я произвожу впечатление девицы, которую можно затащить в вертеп, чтобы уколоться на пару?»

«Даже сейчас, со странным взглядом куда-то вглубь, он потрясающе красив!»

«Ну почему он оказался наркоманом, блин?!»

– Хочешь, я дам тебе денег? – вдруг спросила я и сама удивилась. – Тебе же нужны деньги на новую дозу.

Он не шевельнулся. Мальчик по-прежнему сидел на своем велосипедике в коридоре и с любопытством смотрел на

нас. Я открыла сумочку.

– Смотри, мне вчера выдали зарплату, – я вытащила тоненькую пачку денег и показала ему. – Поделим честно пополам. Половину – тебе, половину – мне.

И протянула ему деньги. И вдруг он засуетился, руки у него задрожали, он, пряча взгляд, схватил деньги, забегал по коридору, натываясь на мальчика.

– Где мама? – спросил у него.

– Мама спит на кухне, – серьезно ответил мальчик.

– Она всегда спит после дозы, – объяснил грузин.

– Тетя, дай мне рубль, – попросил мальчик.

Я уже никого не слушала, нащупала замок, рванула дверь на себя. Он закричал мне в спину:

– Подожди, я тебя провожу!

Не помню, как спускалась на лифте, как выбежала из подъезда, совершенно не понимая, где нахожусь и в какой стороне метро. Темно, какие-то тени шатаются у подъезда.

– Направо, здесь направо, – я обнаружила его рядом с собой, он все-таки вышел следом за мной.

Я побежала, уже виднелась широкая улица, по ней пронеслись машины.

– Останови мне машину, – крикнула я ему.

– Конечно-конечно, – он с готовностью бросился к обочине и вскинул руку.

Сразу остановилась какая-то «тойота».

– Друг, – сказал он, – мою подругу подвезешь, куда она

скажет?

– Садитесь, – кивнул мне водитель.

Я устроилась рядом с водителем и уже захлопнула дверь, как незнакомец вдруг протянул водителю в открытое окно мои деньги:

– Это за проезд (грузин же – что бы ни случилось, он должен заплатить за девушку) И повернулся ко мне: – Я тебе позвоню.

– Даже не вздумай, – разозлилась я окончательно, – не забудь, что я знаю, где ты живешь. Я сообщу в милицию, и они накроют ваш притон. Поехали же скорей.

Машина сорвалась с места с визгом, понеслась вперед по ночной Москве. Я видела в боковое зеркало, как он одиноко стоял на тротуаре и (нет, в это невозможно поверить) махал мне рукой.

И я вдруг разрыдалась. Настигло меня всё-таки. Размазывая тушь по лицу, задыхаясь слезами, икая и кашляя, я вылила на водителя всю свою историю одиночества и неудачного свидания.

И знаете, что он мне сказал, когда я замолчала?

Он сказал:

– Я не понимаю: что вы, нормальные славянские девушки, в этих черножопых находите?

У меня аж весь стресс прошел.

– Так я же сама черножопая! – сказала я ему. – Машину останови! Приехали!

– Идиотка, – сказал мне водитель на прощанье. Что есть абсолютная правда.

Пятнадцатый квартал

– Свэта-джан! – кричала маленькая пожилая женщина на весь венский аэропорт, где у нас с мамой была пересадка на вашингтонский рейс.

Мама отодвинула чашку с кофе и завертела головой во все стороны.

– Это Иоланта! Ее прокуренный голос!

– Свэт! – женщина бежала к нам, сильно припадая на правую ногу, как хромая гусыня.

– Иоланта! – мама протянула к ней руки. – Как ты меня узнала? Я совсем седая, волосы десять лет не крашу.

– Свэта-джан, ты такой же красивый! Я твой дочка узнал. Он такой, как ты многа лет поназад. – Иоланта обняла меня. – Помнишь, ты орал под столом, балик-джан (детка)?

– Иоланта, Иоланта! – мама гладила по соломенным волосам своего неизменного «мастера парикмахерского дела», как гордо называл Иоланту папа. – Никого из твоих клиентов не осталась. Ни Розы, ни Вали, ни Римы. Я плохо вижу... А ты по-прежнему выжигашь свои великолепные черные кудри перекисью? Где ты живешь, Иоланта?

– Я в Бейрут вернулся и пожалел, что Ереван бросил, – плакала Иоланта. – Ты куда летал?

– Я в Америке живу, у дочки.

– Саша тоже?

– И Саши нет...

– Вах, мама-джан! Мой лучший доктор! Нога болит, никто не понимал, а Саша лечил. Я хожу без палка.

– Ты счастливая, Иоланта! Пережила полиомиелит, а твои сестры – нет.

– Свэт, ты помнишь мой квартира в пятнадцатый квартал?

– Еще бы! – счастливо и молодо засмеялась мама. – Там был секретный краник на батарее, и, когда ни у кого не было ни горячей, ни холодной воды, у тебя была. Как держался начес из волос, вымытых водой с ржавчиной из батареи! Неделю! Без лака!

– Я скучал по друзьям, Свэта, я совсем один.

Мама прижала Иоланту к себе.

– И я скучала по тебе! Помню, как приносила из больницы перчатки, чтобы ты берегла руки, но ты упрямо красила клиентов голыми руками, у тебя пальцы всегда были черными.

Иоланта стянула перчатки. Ее пальцы были черными.

– Я бежать на самолет! До свидания, Свэта-джан! – и маленькая женщина с оперным именем нырнула обратно в толпу.

– Из всей семьи она одна выжила, – сказала мама.

– Помню, она рассказывала, что она попала в Армению из Ливана в начале гражданской войны в 76-м году, кажется?

– В 75-м, – поправила мама. – Бейрут был цветущим городом, кто там только не жил, Иоланта рассказывала. И арабы, и персы, и армяне, и европейцы какие хочешь. Иоланта

на шести языках говорит...

Мама медленно перечисляла, загибая худенькие пальцы:

– На армянском, фарси, арабском, турецком, русском, французском...

Я катила мамину коляску к выходу на посадку, а перед глазами стоял пятнадцатый квартал и маленькая девочка Вика, такая, какой ее помнила Иоланта...

Добираться до нашего ереванского дома можно было с двух автобусных остановок – с предпоследней и конечной. Предпоследняя была на сто метров ближе, поэтому все, кому было еще чесать пять километров до дома, старались выйти на ней, а не на круге – конечной остановке всего городского транспорта.

«Лав эли, не пять километров, а один или даже меньше!» – это раздаются возмущенные возгласы бывших соседей. Но тогда, миллион лет назад, восьмилетней девочке Вике казалось – пять. А что вы думали? Попробуйте пройти, волоча тяжеленный портфель, от нашего подъезда до автобусной остановки, мимо пяти длинных, многоподъездных домов с маленькими садиками-огородиками, бельем, растянутым на просушку между балконами, поздороваться со всеми соседями, обрасти толпой сверстников, также спешащих на автобусную остановку, чтобы вовремя поспеть в школу, – и вам не только пять, а все десять километров покажутся.

В портфеле: «Математика» за 2-й класс, «Русский язык», «Армянский язык», три тетрадки в целлофановых обложках, дневник, альбом для рисования, цветные карандаши, остро наточенные безопасным лезвием (папой, конечно, кто ребенку лезвие доверит?), деревянный пенал и деревянная линейка. Линейка служила шпагой, когда надо было пофехтовать с соседом по парте – круглым отличником Артуром Оганесяном, а в пенале лежали шариковая ручка с колпачком, протекающий фиолетовой пастой запасной стержень, простой карандаш и резинка. В портфеле была еще одна резинка – бельевая. Это была самая важная вещь. Это была заявка на лидерство в классе: умеешь через резинку прыгать и все упражнения выполнять на первой, второй, третьей и даже четвертой высоте – когда резинка тебе уже почти по талию, – будет у тебя авторитет, не умеешь – сидеть тебе с тонкими косичками в уголке и плакать. В пору Викиного детства в резинку прыгали все. И даже мальчишки. Если не гоняли в футбол. Еще в портфеле лежал бутерброд с колбасой в магазинной негнущейся бумаге и яблоко. Конечно, казалось пять километров, если тебе восемь и огромный портфель в маленькой руке. А если еще и физкультура?

Автобусы Львовского завода рычали и изрыгали едкие дымовые завесы, доводящие пассажиров на заднем сиденье до интоксикаций и обмороков. Но дети обожали кататься позади. Устроившись на широком сиденье, невзирая на слезы от дизельных выхлопов, молча и увлеченно играли в «ка-

мень-ножницы-бумага». Через несколько лет львовские автобусы заменили на венгерские канареечные «Икарусы», дети тоже подросли, но дислокацию не сменили. В «Икарусах» на задней площадке сидений не было, только стоячие места, зато там здорово трясло и было очень весело подпрыгивать на ухабах и колдобинах, держась за поручни и хватаясь друг за друга на поворотах.

Водители не любили предпоследнюю остановку. В автобус там никто не садился. Выходящие – обойдутся. Не хотелось нажимать на тормоз, открывать двери, ждать, потом выжимать сцепление, переключать рычаг с нейтральной скорости на первую, когда вон до конечного круга – рукой подать. Чтобы водитель остановил на нужной остановке, надо было стать рядом с кабиной и вежливо попросить: «Дядя, стэх кагнэк!» (Дяденька, остановите здесь; «пожалуйста» подразумевалось). Иногда, посмеиваясь над русским акцентом, водители останавливались. Но чаще не замечали писклявую пигалицу, и приходилось топать пять километров, волоча за собой портфель.

Дорога домой была еще интересней, чем в школу. Дети уже играли перед домами, прямо на проезжей части. Девочки, расчертив мелом асфальт на классики, прыгали на одной ножке; мальчишки, соорудив из портфелей ворота и поставив на них самого безответного, гоняли детский красный мяч с зеленой полосой (настоящий футбольный мяч им только снился), молодые мамы с колясками щелкали семечки на

скамейках перед подъездами. Пока всех обойдешь, в классики, прыгалку, резинку, футбол поиграешь, пока постоишь с открытым ртом перед сплетничающими соседями, слушаешь последние новости двора, – как будто все пятнадцать километров пройдешь.

Не всегда игры заканчивались весело, иногда случались ссоры, драки, разбитые носы и колени, а однажды друзья по двору нанесли мне настоящее «увечье».

Мы играли в «казаки-разбойники». Мальчишки швырялись в нас камнями, один камушек, видимо, «контрольный», попал мне в голову, слегка расцарапал кожу, но кровячки хлынуло... Папа был в командировке, а мама – на работе в поликлинике. Сердобольные соседи кое-как забинтовали мне голову, прямо в окровавленной школьной форме затолкали в чью-то машину и повезли к маме на работу: рану промывать и прививку от столбняка делать.

Мама сидит себе в кабинете, больного слушает: дышите – не дышите. Мама – икона стиля 15-го квартала и 6-ой Черемушкинской поликлиники – в красном легком платье, открывающем стройные ноги, в белоснежном накрахмаленном приталенном халатике, в красных босоножках на платформе и с прической «паж», как у Мирей Матье. Тут вводят меня с забинтованной кое-как головой, с размазанной по лицу кровью и слезами. Со мной группа поддержки в виде соседей, орущих на ожидающих в коридоре больных: «Ара, ти не видишь, бжишку ереха (ребенок врача) галава кров?!»

В Америке доктор общается один на один с пациентом в отдельной комнате. Медицинская тайна, как и тайна исповеди, священна.

То ли дело в наших поликлиниках. Два, три, а то и четыре врача принимают больных в одном кабинете. И если у вас кроме кашля еще и геморрой, то вам приходится подмигивать врачу и рассказывать о своих симптомах ему на ушко.

Ереванская поликлиника № 6 также не являлась исключением. Врачи – мама, Лаура и еще Лаура, все модные, все в белых халатиках, медсестра одна на всех – Лена, трое больных (каждый с группой поддержки в виде родственников и друзей) и я с забинтованной головой на манер красноармейца.

Мама – в обморок. Я ору еще громче, уже как три пожарные машины. Две Лауры начинают метаться, больные расстегивать брюки и заправлять туда рубашки, родственники больных разбинтовывают мне голову, медсестра Лена звонит в травматологическое отделение, наши соседи, которых всех лечат мои родители, пытаются привести маму в чувство, набирают в рот воды из стаканов и брызжут ей в лицо. Мамина тушь течет прямо на крахмальный халат. В проеме двери теснится очередь из больных в коридоре, кому плохо видно – подпрыгивают. Не переставая орать, я забираюсь под стол и пихаю ногами всех, кто пытается ко мне приблизиться.

И вдруг в кабинет протискивается маленькая молодая

женщина с обесцвеченными перекисью волосами, не обращая ни на кого внимания, садится на пол, крепко обнимает меня и на армянском шепчет в ухо: «Не плачь, когда все заживет, я сделаю тебе самую модную стрижку, как у Одри. Знаешь, это кто?»

От удивления я перестаю орать. Я, конечно, не знаю, кто такая Одри Хепберн. И мама позже не позволит Иоланте отрезать мне косу, но в тот день в поликлинике произошла «историческая» встреча мамы и ее парикмахера Иоланты. С тех пор две Лауры, Роза, Валя, Рима и другие мамины подруги и соседки собирались у Иоланты в однокомнатной квартире – постричься, покраситься, покурить и посплетничать. Это был их маленький женский клуб.

Распихав очередь в стороны, в кабинет врывается главврач, он же – травматолог с засученными по локоть рукавами и в окровавленном, как моя форма, халате.

– Ура Светаи ахчикэ? – кричит он. Иоланту отталкивают, а меня за ноги вытаскивают из-под стола. Две Лауры, трое больных и их родственники держат меня, как питон кролика. Под мой непрекращающийся ор травматолог промывает рану на голове, приклеивает лейкопластырь, Лена подает ему громадный (в моих глазах) шприц с противостолбнячной сывороткой. Не выпуская меня из рук, все отворачиваются, и... укол!

Травматолог теряет ко мне интерес и переключается на

маму.

«Света-джан, ничего серьезного, маленькая царапина, мозг не задет, – ласково говорит он истерически рыдающей маме. – Сейчас вызовем такси, отвезем тебя с Викой домой, на работу можешь не приходить неделю, вот тебе больничный».

И, повернувшись лицом к толпе в коридоре, как Ленин, выбросив правую руку вперед, кричит:

– Ара, не видите? Трагедия! Бжишк не может вас лечить! Все идите... В травматологию!

Невзирая на «травму» головы, дома мама усаживает меня за уроки. Я прерываюсь на обед, на мультфильм по телевизору, на шаги по лестнице – приоткроешь дверь и смотришь, кто куда идет; на крики со двора:

– Вика-а-а!

Вываливаюсь в окно:

– Я не могу, мне еще чтение читать!

Дети на секунду замирают, задрав головы вверх. Разглядывают мою повязку на голове.

– Больно? – кричат они.

– Не-е-ет!!!

Они моментально теряют интерес.

– Мяч брось! – кричат снизу. И резинку спусти им на веревке.

А завтра еще урок труда. Надо из цветной бумаги выре-

звать аппликацию и аккуратно приклеить на картон.

И только потом – снова во двор. До позднего вечера. Пока мамы на разные тона не начнут звать заигравшихся детей:

– Вика-а-а! Домой!

– Марина-а-а-а!

– Арминэ! Урес, балик-джан?

– Ирэ-э-э-э-на-а-а-а!

– Мамочка, ну еще пять минут!

– Домой, я сказала!

Еле успеваешь умыться, глаза слипаются. И едва голова коснется подушки, наваливается сладкий сон. Сначала не снится ничего, а потом разгоняешься и летишь, а за тобой – ветер из красных, зеленых струй, как цвета мяча у мальчишек, младенцы из колясок улыбаются, и кружатся цветы, ах нет – это юбки подружек, прыгающих в резиночку.

И не успеешь заснуть и проснуться, как опять в школу.

Фриц

В пятом подъезде нашего многоквартирного дома жил Димка по прозвищу «Фриц». Кличку свою он получил за пытки пленных «с особой жестокостью». К тому же и внешность у него была вполне арийская – светлые волосы, прозрачные глаза, рост – выше среднего. Если мы попадали к нему в плен, он хлестал нас крапивой по голым рукам и ногам. Это была действительно «особая жестокость» по сравнению с нашими девчоночьими пытками вроде поливания холодной водой из кружки. Мальчишки к нам в плен попадали редко, поэтому сведения о спрятанных в тайниках картах двора с указанием огневых точек стрельбы из рогаток нам добывать почти не удавалось. К тому же мальчишки молчали, как партизаны.

Вот крапива была ужасом. Но мы тоже не сдавались и с выражением пионэров-героев на лицах отважно жевали бумажки с паролем «Фриц – дурак», нацарапанным химическим карандашом. Как мы только заворот кишок себе не заработали!

В нашем ереванском доме квартиры получали семьи военных, поэтому контингент жильцов собрался очень интернациональный. Армяне, русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи. В первом подъезде жили семьи милиционеров, и мы почему-то с их детьми не дружили, они варились в соб-

ственном соку. Дети всех остальных четырех подъездов постоянно играли в казаки-разбойники и войну.

Был в нашей компании Витька из четвертого подъезда, он слыл отпетым хулиганом, причем до такой степени отпетым, что на него махнули рукой родители, учителя и пионерская организация. У него кликуха была – «Стенка».

В детстве клочки прилипают быстро. Только один раз за десять школьных лет завернула мне мама в школу бутерброд не с вареной колбасой, а с селедкой ма-а-аленьким кусочком, ну кончилась колбаса в то утро, – как первая красавица класса Лена, увидев мой бутерброд, брезгливо потянула носом:

– Фи, это что? Селедка?!

Сколько я ни терла руки хозяйственным мылом в девичьем туалете, сколько ни полоскала рот, а клочка «Иваси» прицепилась – не оторвешь. Вы думали, я была худая и плоская, как селедка? Ничего подобного, у меня всегда были формы.

Вот и «Стенка» прилипла к Витьке. Он был, знаете, парень видный – блондин, с густой челкой. У него были голубые глаза и очень красивый старший брат. Но когда он проходил мимо нас, девчонок нашего двора, мы все демонстративно отворачивались. «Ми его не замечаем (произносится голосом Аркадия Райкина). Ми на него пилим. Он для нас – ну как стенка». И всё. Прилипло. А ведь многие девочки сохли по нему.

Но Витька был безнадежно влюблен в мою лучшую подру-

гу Марину, а Марине нравился Фриц, то есть Димка, а в меня был влюблен лучший друг Стенки – Гришка. Гришка был тихим мальчиком, не хулиганом, не двоечником, не отличником, не фашистом, и мама у него была почтальон. Шансов на мою любовь у Гришки почти не было, потому что я была тайно влюблена тоже в Димку, но Гришка этого не знал и с завидным постоянством писал мне записки типа «Ты мне нравишься очень даже» левой рукой без подписи и бросал их в наш почтовый ящик.

Однажды у Димки был день рождения. Он пригласил нас всех к себе в гости, когда его родителей не было дома. Димка родился в начале ноября, и у нас как раз были осенние каникулы.

После завтрака мы с Мариной, как обычно на каникулах, болтались без дела во дворе, как вдруг подошли Гришка со Стенкой и пригласили нас прямо сейчас к Димке домой.

– Он зовет вас к себе на день рождения.

Мы с Мариной уже тогда не доверяли словам мужчин, поэтому побежали к Димке спросить: это правда, что у него сегодня день рождения? Димка сказал, что правда. Тогда мы потребовали, чтобы он всех девчонок пригласил, а то не придет.

Димка пригласил. Так и сказал:

– Позовите Ирэну и Арминэ.

– А Аллу из второго подъезда?

– Ладно, зовите и Аллу, – великодушно разрешил Димка.

На день рождения с пустыми руками не пойдешь, нужен подарок. Обсуждая, где достать денег, мы с Мариной зашли к Арминэ и Ирэне, пригласили их к Димке на день рождения и договорились встретиться через полчаса возле его подъезда. Тогда нам казалось, что полчаса, чтобы купить подарок и переодеться к празднику, – это вагон и маленькая тележка времени.

Сначала мы отправились к Марине и попросили Маринину маму, тетю Розу, дать нам денег на покупку подарка для Димки. Но тетя Роза, учительница начальных классов, сказала, что книга – лучший подарок, и предложила Марине выбрать какую-нибудь книжку из ее собственных, которую она уже прочитала. Марина нехорошо усмехнулась, и мы с ней не стовариваясь протянули руки к Пришвину.

Книгу Марина подписала: «На долгую память Димке от Марины». Потом подумала и зачеркнула букву «к».

Потом мы пошли ко мне домой. Мои папа и мама, как всегда, были на работе – в больнице, лечили людей. Я оглянулась по сторонам, и мой взгляд упал на великолепный чугунный якорь, гордо покоившийся на причудливо свитых чугунных корабельных канатах. Под канатами красивыми чугунными буквами было написано «Мурманск». Этот сувенир привезли нам бывшие сослуживцы папы, когда в прошлом году приезжали в гости с очень засекреченной базы

где-то на Крайнем Севере. Мама очень обрадовалась их подарку, но когда они уехали, сказала папе:

– Жаль, места в кладовке нет, и не передаришь никому, придется так и оставить этот художественный чугунок на обеденном столе.

Еле оторвав тяжеленный сувенир от стола, мы с Мариной спустили «художественный чугунок» на первый этаж, останавливаясь передохнуть на каждой лестничной площадке.

– Вот Фриц обрадуется, – сказала я (мне для возлюбленного ничего не было жалко). – Помнишь, он говорил, что хочет капитаном дальнего плавания стать?

К Алле я пошла одна. Марина вызвалась покараулить чугунок.

– К Фрицу на день рождения? – спросила Алла, открыв мне дверь. – Да никогда в жизни. Он еще за тот синяк на ноге не извинился.

Я очень завидовала Алле. Только она – большая и красивая, с чудесными медными волосами, раскосыми глазами белочки и бровями-кисточками – могла пренебрегать первым парнем нашего двора. Она была старше всех нас на два года, а когда ты в пятом классе, то семиклассница кажется тебе зрелой, все повидавшей в жизни женщиной.

– К тому же я роман интересный читаю, оторваться не могу.

И показала мне книгу А. Дюма «Три мушкетера». Я пожала плечами: никогда о такой не слышала (только в шестом

классе мы все поголовно заболели Дюманианой).

– Там красивая девушка оказалась воровкой, – сказала мне Алла, – так что иди, не мешай. – И захлопнула дверь перед моим носом.

Еле дотащив якорь на второй этаж пятого подъезда, мы вручили его Фрицу. Тот скривился. Не знаю, то ли от тяжести дорогих подарков, то ли от счастья видеть Марину.

Полы в доме у Димки были великолепные. В них можно было глядеться, как в зеркало. Ровные, до блеска натертые мастикой, покрытые ковриками и половичками, которые опасно елозили по гладкой поверхности.

Мы сняли обувь. Но если все получили нормальные тапки с прорезиненными подошвами, то мне достались чусты с вельветовым верхом и войлочным низом. Они сразу заскользили по полу, по коврикам и половичкам. Держась за мебель, чтоб не упасть, я покатила на чустах, как на коньках, к дивану.

Димка угощал тортом и чаем. Съев необыкновенно вкусный торт до последней крошки, мы осоловели, расслабились и согласились на предложение мальчишек играть в «бутылочку». Стенка крутанул бутылку от лимонада так сильно, что она завертелась, как волчок на «Что? Где? Когда?», разве что не заржала. Мы следили глазами за бутылкой, попихивая друг друга в бок и хихикая. Как вдруг Фриц (фашист проклятый) ногой остановил бутылку так, чтобы она пока-

зывала прямо на Марину.

От такой неприкрытой наглости – или любви (нужное подчеркнуть) все ошалели. Наступила тишина. Димка встал и направился к Марине.

В те целомудренные времена в лучшем случае он бы поцеловал Марину в щеку, в худшем – получил бы по башке чем-нибудь (книжкой, диванной подушкой, кулаком). Но Марина вскочила и побежала к входной двери. Схватила пальто и шапку, прыгнула в сапоги и выскочила на лестничную площадку.

Я же – следом, крича: «Марина, ты куда? Постой, я с тобой. Чтоб ты провалился, фашист, фриц!». Солидарность, одним словом.

Но чусты за моим порывом не поспевали, половички превратились в водные лыжи, ноги разъехали в разные стороны, и, пытаясь сохранить равновесие, я сначала прыгнула четвертной Плющенко, выкидывая невиданные коленца, а потом приземлилась на скрученный коврик в шпагате не хуже растяжки Волочковой (хотя тогда мы не подозревали об этих грядущих знаменитостях). Чусты улетели в другую комнату, а я заорала нечеловеческим голосом: «Я так и знала!».

Мой ор потонул в хохоте друзей. Мои еще недавно товарищи просто стонали. Кто упал на диван, кто под стол, кто головой в тарелку. Они ржали так зажигательно, так заразительно, что мои слезы досады высохли, не пролившись.

Только один Гришка не смеялся. Он молча подошел ко мне, помог подняться с пола, снял с вешалки мое пальто и свою куртку. Не прощаясь, мы вышли с ним из квартиры Фрица и побежали догонять Марину.

Ну, подумаешь, упала, поскользнулась на зеркальном паркете, я даже заплакать не успела. Но влюбленный Гришка заметил, как недобро блеснули глаза Фрица, как он толкнул локтем Стенку. Тот показал другу непристойный жест, оба заржали.

Гришка часто потом дрался со Стенкой и Фрицем за гаражами, ходил с разбитым носом и синяками: они были сильнее и почти всегда выходили победителями.

Отца Стенки со всей семьей перевели куда-то в Забайкалье. Перед отъездом Витька долго караулил Марину, чтобы передать ей записку, но так и не решился.

Его старший брат неожиданно промелькнул в сериалах 90-х про криминальные разборки. Играл братков, крышующих «новых русских».

«Как был красавчиком, так и остался», – усмехнулась Марина, увидев его в телевизоре лежащим с простреленной грудью в луже крови.

Фриц с родителями уехал в Мурманск. Он долго писал мне интересные и смешные письма. Надеялся, что я прочитаю их Марине. Я пыталась, но Марина не находила их ни смешными, ни интересными. Переписка прервалась, ко-

гда Дима поступил в военно-морское училище. В последнем письме прислал свою фотографию с родителями в их квартире в Мурманске. Фриц, как и обещал в детстве, вырос в «истинного арийца».

– На какого-то фашиста из «Семнадцати мгновений весны» похож, – сказала Марина, разглядывая фото. – Ой, ты видела? Позади Фрица на столе наш художественный чугунок!

– Не могу поверить, что они перли эту тяжесть через весь Советский Союз обратно в Мурманск.

– Подарок от любимой девушки.

– От тебя, ты имеешь в виду?

– От тебя, балда! Неужели непонятно? Он же в тебя был влюблен! Я была лишь для отвода глаз. Он делал всё чтобы ты не догадалась. Такая натура. Гордость, замешанная на чрезмерной ранимости и боязни быть отвергнутым. Отсюда – ненужная грубость. Никогда ему крапиву не прощу. Да и письма Димка писал только тебе и больше никому.

Детские влюбленности прошли у всех. Взрослая жизнь закрутила, разбросала по странам и континентам. Что случилось с ними, друзьями детства? Не знаю...

И только что случилось с Гришей, знали все. Его отец, прапорщик, нелепо погиб во время ежегодных стрельбищ на полигоне – шальная пуля. Провели проверку, кому-то вынесли строгий выговор. Мама Гриши решила остаться в Ереване, где служил и погиб ее муж. Они оба были детдомовские,

и возвращаться ей было некуда. А тут была квартира, работа на почте.

Если бы знать заранее, какая тебе судьба уготована, а еще лучше – твоим детям. А, может быть, лучше всё-таки не знать?

Гришка пошел служить в ту же часть, в которой когда-то погиб отец. Мама гордилась сыном: офицер, танкист. А потом началась Карабахская война. Советский Союз приказал долго жить. Гришкину часть расформировали.

В звании младшего лейтенанта он присягнул на верность молодой независимой Армянской республике.

Через год русский парень Григорий Яковлев сгорел заживо в танке с тремя товарищами под селом Каринтак Шушинского района.

Гришиной маме похоронку никто не принес. Она ее сама получила. Еще утром, придя на работу, сразу обратила внимание на большой конверт с гербом Армении. Ей уже приходилось видеть такие конверты. Она взяла его в руки и прочитала на нем свой адрес.

Грише было двадцать пять.

Потерянное поколение

В шестнадцать лет привлекательными я считал тех девушек, которые дают, а тех, кто не дает – некрасивыми занудами. Те, которые дают, мною особенно не увлекались. Им нравились парни, приезжающие в школу на машинах. После уроков девушки рассаживались по «шевроле» и «фордам» этих парней и укатывали вдаль, обычно до утра.

Я добирался в школу на автобусе. Дым от марихуаны до сих пор напоминает мне запах школьного автобуса.

Однажды, проработав все летние каникулы в ресторане, я купил подержанный мотоцикл. И девушки, которые дают, меня заметили.

Было много травы и алкоголя, было весело и просто. Напрягаться не хотелось. Прилагать усилия, разбираться с теми девушками, которые не дают, не хотелось тем более. Я читал книги и слышал, что девушки, не дающие сразу, устроены особо, что душа у них нежная, мораль, любовь... Сейчас я понимаю, что я до дрожи, до спазм в желудке стеснялся к ним подойти.

Для меня любовь, как тогда казалось, должна быть всеобщей и всеобъемлющей – хорошее настроение, мотоцикл, скорость, девушка за спиной, косячок – что еще для счастья надо? Я всех люблю, а, значит, и меня все любят.

Когда ты подросток, то до смерти боишься, что тебя вдруг

начнут гнобить. Логика тут нет. Любой может попасть под насмешки и издевательства. Только одни могут дать отпор, а другие не находят в себе сил и ломаются.

Мы много пили, много курили и клали на мнение окружающих. А другие не могли столько пить и курить, они вешались, топились, глотали таблетки родителей и резали вены. Некоторые стреляли в обидчиков и тоже ломались.

В юности, с одной стороны, кажешься себе бессмертным, с другой – свести счеты с жизнью можешь по любому поводу: обидели – повесился, косо посмотрели – дал по газам и в дерево насмерть, назвали ублюдком – расстрелял всех и себя в том числе. Сейчас, чтобы убить себя, мне нужен повод повесомей.

Я до сих пор удивляюсь, что дожил до пятидесяти и даже до пятидесяти пяти, в юности мне казалось, что мой срок – в лучшем случае тридцатник. И все. Хотя тридцатник, когда тебе семнадцать, – это тоже преклонный возраст.

Такой образ жизни вполне меня удовлетворял. После колледжа я наживал жизненный опыт: мотался по миру, учился в профессиональном плане и в прочих планах тоже. Ни к чему не обязывающие встречи в самолетах, в барах, в офисах – это был мой стиль.

Не знаю, что обо мне думали те случайные попутчицы и сослуживицы. Надеюсь, я никого не обидел. Мне пытались жаловаться на своих бывших, кто был до меня, и строить

планы на будущее, но я ускользал.

Я еще не знал, что умению любить только одну женщину надо учиться. Да что там говорить, уметь любить – тоже не каждому дано. Позднее пришло понимание, что не количество важно, а качество. Что не та девушка, которая нравится всем, должна обязательно нравиться мне.

И вот мне стукнуло пятьдесят. Мы с сестрой-близнецом встретили наш полтинник на Арубе. Неженатые, детей нет, раскрепощенные и обеспеченные. С нами друзья. Такие же, как мы – не обремененные семьями, отношениями, обязательствами.

Мы здорово проводили время, но вдруг у подруги сестры, Линды, случился микроинсульт. Ее лицо, кирпичного цвета от загара и прилива крови, исказила гримаса, как будто ей нарисовали клоунскую улыбку. Она не понимала, что с ней происходит, количество алкоголя в ее крови зашкаливало. То, что она выжила и вернулась к нормальной жизни – было чудом. Но, вернувшись в Вашингтон, я долго вспоминал, как, увидев себя на следующий день в зеркале, Линда тихо заплакала. А исказившая ее лицо нелепая улыбка так и не уходила, как Линда ни старалась расслабить мышцы.

Дома на меня вдруг навалилась нечеловеческая усталость, я почувствовал, что мне больше не хочется ходить на работу, бриться, повязывать галстук каждое утро. Первый раз в жизни мне стало по-настоящему одиноко. Пятьдесят лет стук-

нуло, а ни жены, ни детей, ни дома. Никакой собственности – свободен, как одинокая чайка Джонатан, но как же, черт побери, тоскливо.

Именно в таком настроении, хотите, назовите это депрессией, хотите – хандрой, я встретил свою будущую жену. Тогда, надо сказать, я не догадывался, что именно она – та женщина, которую я так долго учился любить. Она всё делала неправильно: звонила невпопад, громко и долго разговаривала, плакала, когда я исчезал на неделю. Но почему-то это меня не раздражало, а забавляло. Она была младше меня, но тоже далеко не юная, с багажом отношений и привычек. Мне было интересно слой за слоем открывать ее для себя. Она была из другого мира: боролась за место под солнцем, набила синяков и шишек, закалилась, превратилась в ханжу – пилит меня, что я пью много, неправильно питаюсь или часами торчу перед телевизором. Я люблю ее за то, что долго ворчать она не способна, и, если переключить ее внимание и рассмешить, а это я умею, то она забудет, что у меня в руках стакан с виски и что тренировку в спортзале я опять пропустил.

Я понял главное, надо находить маленькие радости во всём и принимать их с благодарностью. Этому я научился у моей жены, и за это я ее люблю.

В доме моих родителей слово «коммунизм» никогда не произносилось. Оно было синонимом дьяволу, абсолютному

злу. А моя жена оказалась комсомолкой, коммунисткой. И ее отец был коммунистом, и дед, и оба служили в армии нашего идейного врага. Границы мира, моего мира, расширились. Границы принятия расширились. Я принимаю и уважаю то, что всего пять лет назад было для меня неприемлемым. Мир движется вперед, и я рад, что вместе с женщиной, с которой мне безумно интересно, развиваюсь и я. Она открывает для меня другую культуру, а я, в свою очередь, открываю для нее Америку.

Я долго не верил в семейные отношения. Мои родители ни разу не повысили голос друг на друга, мы с сестрой считали их идеальной парой. Если у них и бывали неприятности, то только из-за нас. Я тогда вообще мало обращал на них внимания, а мысль, что у них не всё ладно между собой, мне никогда в голову не приходила.

И вдруг, когда нам с сестрой было по семнадцать, они развелись. Вот так, однажды, когда мы, развалившись на диване с миской попкорна, смотрели телевизор, отец подсел к нам и абсолютно будничным голосом сказал: «Мы с мамой пока проживем раздельно». Сестра спросила: «Как раздельно? Вы что, разводитесь?» И отец просто сказал: «Да». Набрал горсть попкорна и поднялся наверх, в гостевую спальню. Сказать, что меня огрели обухом по голове – ничего не сказать. Прошло сорок лет, а я до сих пор помню, какой мы с сестрой смотрели канал в тот миг, какое шоу, какой сезон

и эпизод.

– Что теперь будет? – спросил я сестру. – Что будет с нами?

– Don't worry, – зевая, сказала она, – they will be ok.

Я так и не знаю, почему они развелись. Они уже давно, больше тридцати лет, живут во вторых браках. Я никогда их не спрашивал о причине. По большому счету, я не хочу знать.

Я встречал жен, изменяющих мужьям, встречал неверных мужей, невест, прибежавших в ночь перед свадьбой к своим бывшим, чтобы «попрощаться» – замужняя жизнь впереди. У меня пропадали кошельки после приятно проведенных ночей с незнакомками из баров, а однажды мою подпись на чеке в пять тысяч долларов подделала женщина, которая жила у меня полгода. Мое доверие к людям истончалось.

Я спросил у бабушки, она прожила сто один год в трезвой памяти: «Ты любила мужа?»

«Ты про которого спрашиваешь? Про дедушку?»

Ах да, я и забыл, что у нее было трое мужей. Точнее, всегда знал, но меня никогда не волновал этот вопрос, пока я сам не задумался о браке.

«Конечно, любила, – уверенно ответила бабушка. – И они меня. Жаль только, что мне пришлось всех троих похоронить».

«Мне бы твою уверенность и выносливость», – позавидо-

вал я бабушке.

Ремарк называл себя и своих ровесников «потерянным поколением». Если в возрасте девятнадцати-двадцати лет проходишь войну, то потом не можешь научиться жить среди нормальных людей, считал он.

Мы были первым американским поколением, кому не нужно было register for the draft³.

Ребята старше меня всего на год, успели попасть во Вьетнам. Если бы я родился чуть раньше, я бы всё равно не пошел воевать. Я не могу взять в руки ружье и идти убивать людей, которые не сделали мне ничего плохого.

Мой доктор говорит: «Нет ничего печальнее, чем смотреть на стареющих хиппи. Приходят ко мне на прием в тех же белых рубищах, босиком в любую погоду, с седыми распушенными волосами. Их вечные герлфрендс в тех же длинных юбках, банданах, стягивающих головы. В глазах – добро. И куча болезней. Старые, бедные хиппи».

Я моложе их, но если бы меня послали воевать во Вьетнам, я бы тоже стал хиппи и сел бы с ними на землю перед Белым Домом⁴.

Но иногда мне кажется, что мы с сестрой, мои друзья –

³ Обязательная постановка на военный учет.

⁴ Сидячая забастовка 8 августа 1965 года против действий американской армии во Вьетнаме.

«потерянное поколение». Мы так долго жили в свое удовольствие, стараясь ни в коем случае не напрягаться, что, наверное, упустили что-то важное из виду.

Я очень надеюсь, что у меня еще есть время чему-нибудь научиться. Например, верности.

Рассказ фигуристки

Санаторий Прибалтийского военного округа в Пярну был похож на теремок. Деревянный дом с резными ставнями, сложной крышей и круглыми чердачными окнами.

От теремка на пляж вела великолепная аллея высоких и разлапистых елей, которые своими верхушками почти закрывали небо, и на аллее было градусов на десять холоднее, чем вокруг. Приходилось надевать два свитера, чтобы не подхватить воспаление легких.

На пляж ходили, не без этого. Александр чаще, там его ждала команда по преферансу. Баталии заядлых отпускников-преферансистов в основном протекают на пляжах. Он даже загорал только с одной стороны – как сидел за многочасовой игрой, так и чернел наполовину. Рита на пляж ходила реже: очень неудобно было каждый раз натягивать колготки и теплый свитер поверх купальника и дрожать под нежарким, хоть и очень ярким прибалтийским солнцем. Рита любила кондитерские и кофейни. Мама осталась дома, с мужем и дочерью в Эстонию не полетела – уж больно холодно.

Девочке Рите едва исполнилось четырнадцать, но она считала себя продвинутой, крутой и умудренной жизнью барышней. Слушала только заграничную музыку, читала журнал «Иностранная литература», который выписывал папа. В прошлом году родители Риты свозили ее в Москву и Ленин-

град. Показали все дворцы и поводили по всем доступным музеям. И даже на «Мазепу» в Театр оперы и балета имени Кирова, где партию Кочубея исполнял Борис Штоколов, попали. Поэтому Рита считала, что уже видела и знала все.

Черноморское побережье Кавказа было для Риты вчерашним днем, туда папе путевки давали регулярно, и она уже так обнаглела, что воротила нос: хотелось за границу. Пусть не совсем в настоящую, пусть чуть-чуть, но, в ее понимании, за границу – в Прибалтику.

В Эстонии было все так, как Рита любила. Сказочные домики и сказочная ратуша из прелестных историй Андерсена и любимых фильмов «Город мастеров» и «Три толстяка». Рок-группы на площадях и пляжах, поющие на непонятном языке, пусть не на английском, как обожаемые Led Zeppelin и Pink Floyd, но и не на русском. Вкусные пирожные и горячий шоколад в малюсеньких кафе, где посетители читали газеты и разглядывали глянцевые журналы, смакуя кофе, отхлебывая из глиняных чашек. Всё-таки Эстония очень отличалась от привычных Сухуми и Сочи с шашлыками, мушмулой, обезьяньим питомником и великолепными магнолиями. А еще в Эстонии было немногочисленно. И это Рите тоже очень нравилось.

В Пярнуском санатории оказались строгие правила: детей старше 14 лет в одну комнату с представителями другого пола не селили. Поэтому папа Риты – Александр – отправился

к двум майорам из Алма-Аты, а дочь определили соседкой к молодой женщине, которая приехала в Пярну с мужем, но, так как свободной комнаты для семейной пары не нашлось, то муж проживал с подводниками, ожидая, пока освободится номер на двоих. Молодая женщина, лет 23–24-х, устроилась на кровати у стены, напротив окна. Рите предложили выбрать любую кровать из оставшихся семи.

От соседки на одну ночь Рита услышала необыкновенную новогоднюю историю, и много лет спустя терялась в догадках: правдивый ли был ее рассказ или выдумка.

Света Сорокина родилась в маленьком городке на Урале. Жила с мамой в коммунальной квартире, каталась на коньках, играла во дворе с ребятами в хоккей.

Дальше – как в сказке. Брат соседки по квартире организовал первую в их городе секцию фигурного катания. Так маленькая Света из дворового хоккея попала в фигурное катание. У мамы денег не было ни на что, но оказалось, что Свету поцеловал в темечко спортивный бог. Брат соседки не был суперпрофессионалом, но даже он понял, что девочка – настоящий талант. Соседка помогала во всем: купила хорошие коньки, заплатила за пошив платья для выступлений, и поехала Света на свой первый турнир в Екатеринбург, тогда – Свердловск. И выиграла турнир в своей возрастной группе. О Свете узнали в Москве, перевели в интернат, поставили в пару с подающим надежды мальчиком. Из уральского захолустья Света попала в столицу, в сборную страны, а по-

том и на международные юношеские турниры. Единственное, что сильно омрачало светлый путь юной фигуристки, был ее рост. Она быстро росла и вскоре переросла партнера. И еще – грудь. Росла грудь. Другие девушки бы радовались, а Свете грудь мешала выполнять двойные тулупы и аксели, а партнеру – еще тяжелее – поддержки.

Московский тренер подыскал Свете другого партнера с простой украинской фамилией типа Шевченко. Мальчик был высок, красив, дедушка – генерал, отец – полковник, мама – театровед. Жили они в огромной пятикомнатной квартире с прислугой на Мосфильмовской.

И начался новый этап в Светиной спортивной карьере – танцы на льду. Света оказалась очень артистичной, чувствовала музыку, у нее были красивые руки. Танцам, поставленным подружкой мамы-театроведа – хореографом Большого театра, рукоплескала вся Европа. По оценкам за артистичность Света и ее партнер выиграла чемпионат Европы, а в общем зачете заняли третье место. Это был их дебют на чемпионате Европы среди взрослых. Уже готовились к чемпионату мира, как вдруг грянул гром: Шевченко влюбился. Но не в Свету, а в тоненькую черноволосую девушку с огромными глазами – Марину, тоже фигуристку, которая выступала во втором эшелоне.

Любовь победила. Шевченко навсегда отказался выступать со Светой. Кроме того, Марина была москвичкой и тоже не из простой семьи. К тому же не менее талантливой. Све-

точку отфутболили в Таллин. Какая разница, думали чиновники от советского спорта, где Свете жить, в каком общежитии. Надо и эстонское фигурное катание поднимать. В Таллине оказался способный мальчик, чьи родители наотрез отказались отпускать его в интернат в Москву. Свету же, голь перекатную, никто не спрашивал: партия сказала «надо», я ответил – «есть!»

Родители таллинского мальчика никуда одного не отпускали. Почти всегда мама присутствовала на тренировках, сопровождала на соревнования. Но однажды она заболела, и юные фигуристы уехали на турнир в Свердловск без нее. Турнир проходил в конце декабря, и тренер решил остаться встречать Новый год там. У него были друзья в Свердловске. Свете разрешили первого января поехать к маме, а ее партнер должен был улететь в Таллин на следующий день. Света с мальчиком остались в гостинице одни. Мальчик открыл шампанское, Света захмелела, и случилось то, что и должно было случиться.

Надо сказать, что у Светы никого до этого не было. А когда бы было? Если с двенадцати лет она жила в интернате, большую часть времени проводила на сборах, тренировках и соревнованиях. Уставала так, что еле доползала до кровати. А еще училась в школе. Ей очень нравился Шевченко, но он был сноб, Свету воспринимал только как партнершу по танцам. Его коробило ее произношение, он ее в лицо называл «деревенщиной», она плакала ночами, но ничего не могла

изменить и плыла по течению.

Всё-таки в танцах на льду личная привязанность к партнеру имеет большое значение. В паре с Мариной, на которой Шевченко впоследствии женился, бывший Светин партнер раскрылся совсем иначе. Их танцы были настолько чувственны и эмоциональны, что вскоре пара Шевченко – Марина выбилась на первое место в Союзе, а с середины восьмидесятых они неоднократно брали «Европу», чемпионаты мира, и в конце концов выиграли Олимпиаду.

Как только мальчик слез со Светы и откинулся на подушку, она почему-то заплакала. Торопливо оделась, выскользнула из номера и побежала по коридору. От ее шагов проснулась дежурная на этаже.

– Она посмотрела на меня так брезгливо, да еще плечами передернула, – рассказывала Света, – что я не посмела вернуться в свой номер и выбежала на улицу. Шла и шла по заснеженным тротуарам.

Каждая девочка мечтает о большой любви, и Света мечтала, а получилась какая-то неловкая возня, стыдно как.

Навстречу шла группа парней: «Девушка, почему вы одна? Пойдемте с нами встречать Новый год!». Света проскользнула мимо. От группы отделился парень и пошел рядом с ней. Он заметил, что девушка плакала. И так был внимателен, и хорошие слова ей говорил, и веселые истории рас-

сказы вал, что Света перестала плакать, заулыбалась, даже хохотала над особо смешными пассажами и напрочь забыла, что полчаса назад потеряла невинность и трусливо сбежала от «возлюбленного».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.